

А. М. Скабичевский

**Алексей Писемский. Его
жизнь и литературная
деятельность**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-94
ББК 63.3-8
А11

A11 **А. М. Скабичевский**
Алексей Писемский. Его жизнь и литературная деятельность / А. М. Скабичевский – М.: Книга по Требованию, 2021. – 74 с.

ISBN 978-5-4241-3355-8

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии 'Жизнь замечательных людей', осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют свою ценность и по сей день. Писавшиеся 'для простых людей', для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы - профессия.

ISBN 978-5-4241-3355-8

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021
© А. М. Скабичевский, 2021

А. М. Скабичевский
Алексей Писемский. Его жизнь
и литературная деятельность

**Биографический очерк А. М. Ска-
бичевского.
С портретом Писемского, гравиро-
ванным в Петербурге К. Адтом.**

ГЛАВА I

Алексей Феофилактович Писемский, один из первостепенных русских писателей, принадлежит к плеяде тех беллетристов сороковых годов, которые, ведя свое происхождение от Гоголя, тем не менее пошли по совершенно самостоятельному пути и обогатили русскую литературу рядом могучих произведений, сразу поставивших ее на один уровень со всеми европейскими.

Беллетристы сороковых годов замечательны, кроме того, тем, что, образуя одну школу, они в то же время не только не теряют своей индивидуальности, но, напротив, представляют разнообразные типы, являясь совершенно самостоятельными и оригинальными художественными личностями. То же самое следует сказать и о Писемском.

Эта оригинальность каждого из беллетристов сороковых годов, кроме разных других причин и обстоятельств, наиболее определяется средой, из которой вышел тот или другой из них, так как среда всегда налагает резкую и неизгладимую печать как на характеры, так и на ход жизни исторических личностей. Принимая это во внимание, мы, прежде чем начнем излагать факты жизни Писемского, скажем несколько слов о нравах той среды, из которой он вышел, убежденные, что такая характеристика послужит нам путеводной звездой к определению многих черт Писемского как человека и писателя.

Итак, начнем с того, что Писемский по своему происхождению принадлежит к среде захолустного мелкопоместного дворянства, нравы которого в начале нынешнего (XIX – Ред.) столетия резко отличались от нравов всех прочих сословий, не исключая и богатого дворянства.

Богатое дворянство в то время было средоточием образованности и культуры русского общества. Стремление стоять на высоте европейской цивилизации, во всем походить на европейцев доходило в этой среде порою до забвения родного языка. Шикарство, комильфотство и стремление к изысканной утонченности нравов составляли предмет строгого культа.

В то время как увлечение передовыми идеями Запада вело здесь к крайнему идеализму, доходившему до полной потери ощущения действительности, легкая возможность удовлетворить всем прихотям на почве крепостного права обуславливала изнеженность и распущенность нравов, мало уступавшие таким же качествам французской знати эпохи регентства.

Совсем иное видим мы в среде мелкопоместного дворянства. Малая образованность и культурное невежество доходили здесь порою до полной безграмотности, и если, по словам поэта, “бывало, русский генерал служил и грамоты не знал”, то чего же было требовать от бедных помещиков разных медвежьих углов и степных захолустий? Домостроевская строгость семейного быта шла здесь рука об руку с еще более неумолимой суровостью по отношению к крепостным, которых у барина было немного и которые поэтому все были наперечет; барин имел возможность входить в жизнь и интересы каждого своего раба, и идеал его как барина заключался в том, чтобы держать всех их в ежовых рукавицах.

Скудость средств развивала здесь энергию борьбы за существование; некогда было идеальничать и заноситься за облака в опасности умереть с голоду, и на сцену являлись трезвая практичность, скопидомство, доходившее порой до

черствого кулачества и скаредности. Материальные расчеты преобладали; даже и женились по большей части на основании таблички сложения, так как в сумме 50 душ крестьян да еще 50 составляли 100, и состояние удваивалось.

Но зато, при верности праотеческим традициям, здесь более сохранялись своеобразные черты русской жизни. Бедный помещик ближе стоял к крестьянину, чем его богатый сосед. Жизнь была проще, нравы – чище; чаще встречались непосредственные, честные и прямодушные люди, закаленные суровым опытом жизни. А если наблюдался здесь разврат, то и он имел свой особенный характер: французские кокотки заменялись доморощенными Маланьями и Парашами, на которых порою одинокие холостяки или вдовцы женились; шампанскому же предпочитали отечественную сивуху, вследствие чего в мелкопоместной среде при скучости умственных интересов и монотонности жизни бывали часты случаи мрачного запоя.

Чухломской уезд Костромской губернии, родина Писемского, был именно одним из тех трущобных захолустий, где нравы мелкопоместного дворянства сохранились в двадцатые годы нынешнего столетия во всей своей неприкословенности.

“Я происхожу, – сообщает Писемский в оставшейся после него автобиографии, – от старинного дворянского рода. Один из предков моих, некто дьяк Писемский, был послышен царем Иоанном Грозным в качестве посла в Лондон для осмотра племянницы королевы Елизаветы, на каковой племяннице царь предлагал жениться. Другой предок мой из рода Писемских пошел в монастырь и удостоился быть причисленным к лицу святых, в сонме которых до сих пор именуется Макарием Писемским, а мощи его почивают в Макарьевском, на реке Унже, монастыре. Вот и вся историческая слава моего рода. Позднейшие Писемские, о которых я слыхал, были по большей части люди богатые; но та ближайшая ветвь, от которой, собственно, я происхожу, была совершенно захудала: дед мой был безграмотен, ходил в лаптях и сам пахал землю. Богатый родственник его, малороссийский помещик, взялся устроить судьбу отца моего, Феофилакта Гавrilовича Писемского, которому тогда было четырнадцать лет, устройство судьбы ребенка состояло в том, что отца моего пообытили, пообщили, выучили грамоте и определили солдатом в войска, пошедшие завоевывать Крым.

Прослужив лет тридцать в действующей армии, отец мой уже в чине майора нашел возможность побывать на родине, т. е. в Костромской губернии, которая отстояла от Кавказа на две тысячи почти верст; но он, тем не менее, большую часть пути совершил в сопровождении четырех денников верхом, находя езду в экипаже совершенно для себя неприятной и очень беспокойной. На родине ему пришлось жениться на моей матери из довольно достаточного семейства Шиповых. Отцу моему в это время было лет сорок пять, а матери – тридцать семь. Плодом этого брака, между прочими детьми, был и я, родившийся в 1820 году 10 марта в усадьбе Раменье. Четверо детей, бывших передо мною, померли, а равно померли и бывшие после меня пять человек. Если дозволительно детям произносить суд над родителями, то я могу таким образом определить моего отца и мою матерь. Отец мой в полном смысле был военный служака того времени, строгий исполнитель долга, умеренный в своих привычках до пуритана, человек неподкупной честности в смысле денежном и вместе с тем суровый и строгий к подчиненным: наши крепостные люди его трепетали, но только дураки и лентяи,

а умных и дельных он даже баловал иногда.

Мать моя была совершенно иных свойств: нервная, мечтательная, тонко умная и при всей недостаточности воспитания прекрасно говорившая и весьма любившая общительность. Собою она, за исключением весьма умных глаз, была нехороша, и по поводу ее наружности покойный отец мой, когда я был уже студентом, имел со мною такого рода беседу:

— Скажи мне, Алексей, отчего это мать твоя чем дальше живет, тем красивее становится?

— Оттого, папенька, что у маменьки много душевной красоты, которая с годами все больше и больше выступает.

Отец согласился со мною”.

Вот что сообщает Писемский в автобиографии о своем детстве:

“По рассказам, я рос очень болезненно в раннем детстве и ужасно капризничал: то у меня являлась страсть сосать сафьянные башмаки, то требовал грязной воды, в которой меня мыли, то требовал куска, который отец проглотил; был даже, говорят, лунатик, так что меня лавливали входящим на чердак. Все эти проказы мои не помешали мне, однако, сделаться каким-то божком для отца и матери да сверх того еще для двух теток, барышень Шиповых, не вышедших замуж, которые, непременно предполагая сделать меня своим наследником, пыдали ко мне какую-то материнской любовью, так что между соседним дворянством говорили, что у меня не одна мать, а три.

Сначала детство мое, до десяти лет, я провел в маленьком уездном городке (Беттуге), куда отец мой определен был от комитета о раненых городничим. Воспоминания о житъе в этом городке у меня остались какие-то планетные: помню наш дом, довольно большой, с мезонином, где обитала я; помню пол, очень негладкий, играя на котором, я занаживал себе руки; помню высокую белую церковь, а в ней рыжего протопопа Колосова; помню кадку из-под стреки, в которой нянька меня купала; а больше всего помню ясные, светлые дни и большую реку, к которой меня нянька никогда близко не подпускала. Затем я уже жил в настоящей деревне, куда переселились мои родители. Особенно резок и шаловлив, по словам всех, я не был, но всегда любил устраивать игры в попы (т. е. представлять, как попы служат), в лошади, пахал грядки, сидел на лабазе, подстругая медведя. Словом, описание моего детства находится в “Любях сороковых годов”, в главе второй”.

Обращаясь, по указанию Писемского, ко второй главе его вышеназванного романа, мы действительно находим ряд весьма живых сцен из детства героя романа Паши. Описывается, как Паша со своим товарищем, дворовым мальчиком Титкой, и собакой Кузкой бегали за зайцем, как медведь утащил у отца лучшую корову, а егеръ Яков Сафоныч подстерег и убил медведя, к несказанному удовольствию мальчика, которого едва отец мог удержать от участия в охоте егеря. Подросши, мальчик выучился верховой езде и до страсти полюбил ее.

“Главное удовольствие при этом, — читаем мы в романе, — доставляли ему опасность и могущество власти над лошадью. Он один-одинехонек уезжал верст за семь через довольно большой лес; кругом тишина, ни души человеческой, и только что-то поскрипывает и потрескивает по сторонам. Лошадь идет, навострив уши, вздрагивая и как бы прислушиваясь к чему-то. Но вот огромная глинистая гора; Павел слегка только сдерживает поводья. Лошадь осторожней-шим образом

сходит с горы, немного приседая назад и скользя копытами по глине; Павел убежден, что это он ее так выездил. За горой надобно проехать через довольно крутой мост; на середине его большая дыра. Павел нарочно погоняет лошадь и направляет ее на эту дыру; но она ее перескакивает. Следующую речку Павел решился переехать вброд. Речонка тоже пенится и шумит; лошадь немножко застращалась; Павел смело нукает ее; лошадь осторожно входит в воду. На середине реки ей захотелось напиться, и для этого она вдруг опустила голову; но Павел дернул поводьями и даже выругался: “Ну, черт, запалилась!” В такого рода приключениях он доезжает до села, облезжает там кругом церковной ограды, кланяется с сидящим у окна матушкой-попадьей и, видимо гарцуя перед нею, прокакивает село и возвращается домой”.

Выпросивши у отца ружье, мальчик почти каждый день начал в сопровождении Титки и Кучки ходить на охоту:

“Охотником искусствым он не сделался; но зато привык рано вставать и смело ходить по лесам. Каких он не видал высоких деревьев, каких перед ним не открывалось разнообразных и красивых лощин! Утомившись, он очень любил лечь где-нибудь на траве вверх лицом и смотреть на небо. И вдруг ему начинало представляться, что оно у него как бы внизу, самые деревья как будто бырастут вниз и вершины их словно кутаются в воздухе, — а он лежит на земле потому только, что к ней чем-то прикреплен; но уничтожься эта связь, и он упадет туда, вниз, в небо. Павлу делалось при этом и страшно, и весело...”

Таким образом, детство Писемского провело среди бодрящих и закаляющих телесно и душевно впечатлений деревенской жизни. Он получил в эти годы то скучное образование на медные деньги, какое в то время было свойственно среде мелкопоместного дворянства. Вот что говорит он в романе “Люди сороковых годов” о воспитании героя Паши:

“По случаю безвыездной деревенской жизни отца, наставниками его пока были: приходский дьякон, который версты за три бегал каждый день поучать его часа два; потом был взят к нему расстрига-пол, но оказался уже очень сильным пьяницей; наконец учил его старичок, переезжавший несколько десятков лет от одного помещика к другому и переучивший по крайней мере поколения четыре. Как ни плохи были такого рода наставники, но все-таки учили его делу: читать, писать, арифметике, грамматике, латинскому языку. У него никогда не было никакой гувернантки, изобретающей приличные для его возраста causeries¹ с ним; ему никогда и никто не читал детских книжек, а он прямо схватился за кой- какие романы и путешествия, которые нашел на полке у отца в кабинете; словом, ничто как бы не лелеяло и не поддерживало в нем детского возраста, а скорей игра и учение все задавали ему задачи большие его лет”.

Почти то же говорит он о своем воспитании в доме отца и в своей биографии.

“Учиться меня особенно не нудили, да я и сам не очень любил учиться; но зато читать и читать, особенно романы, любил до страсти: до четырнадцатилетнего возраста я уже прочел, в переводе разумеется, большую часть романов Вальтера Скотта, “Дон Кихота”, “Фоблаза”, “Жильблаза”, “Хромого Беса”, “Серапионовых братьев” Гофмана, персидский роман “Хаджи-Баба”; детских же книг я всегда терпеть не мог и, сколько припоминаю теперь, всегда их находил очень глупыми.

Наставники у меня были очень плохи и все русские. В детстве я, кроме ла-

тинского языка, никакому новому языку не учился, что мне впоследствии принесло и даже до сих пор приносит большой вред. Тщетно я в гимназии и в университете старался познакомиться с французским и немецким языками, которым, впрочем, в некоторой степени и выучивался, но только не на долго: не проходило и полугода, как я забывал язык. Вообще, кажется, у меня очень слаба способность к языкам, к истории и к естественным наукам; тогда как к наукам философским, т. е. к математике, к метафизике, к логике, эстетике, этике, я весьма склонен”.

“В 1834 году, т. е. когда мне было четырнадцать лет, меня отдали в Костромскую гимназию, во второй класс. Учиться там я начал понятливо и довольно прилежно, но гораздо большую славу на актерском поприще”.

Обращаясь затем к роману “Люди сороковых годов”, в котором автор описал все свое детство, мы видим, что отец Писемского сам свез сына в Кострому, где и поместил его на частную квартиру в большом каменном запущенном помещичьем доме, в довольно глухом переулке. На пожелтевшей крыше его во многих местах росла трава; штукатурка и разные украшения наружных стен обвалились. В верхнем этаже некоторые окна были с выбитыми стеклами, а в других стекла были заплесневевые, с радиусным отливом; в нижнем этаже их закрывали тяжелые ставни. К главному подъезду вели железные ворота, на которых виднелся расковавшийся пополам герб фамилии владельцев. Его держали два льва, один – без головы, а другой – без всей задней части. Вместе с мальчиком в качестве туттора и репетитора был помещен старший его летами гимназист Стайновский, а прислуживать им оставили дворового парня лет четырнадцати.

Расставание отца с сыном было самое трогательное. Мальчик бросился к отцу на шею, зарыдал на всю комнату и произнес со стоном: “Папенька, друг мой, не покидай меня навеки!” Старик застонал, зарыдал тоже. “Нет, не покину, не покину!..” – бормотал он; потом, едва вырвавшись из объятий сына, сел в экипаж: у него голова даже не держалась хорошо: он на плечах, а как будто болталась. “Папаша, папаша, милый!” – стонал мальчик. Старик махнул рукой и велел себя везти скорее; экипаж уехал. Мальчик, как бы все уже похоронив на свете, с понуренной головой и весь в слезах отправился в комнаты... По крайней мере с месяц после разлуки с отцом он тосковал о нем.

Но вот начались уроки, и потекла день за днем монотонная гимназическая жизнь, однообразие которой нарушилось приездом в город бродячей труппы.

Актеры были крайне плохие. Устроенный в помещении кожевенного завода театр находился где-то под землей, и сохранялся еще запах дубильных веществ, которым пропитаны были его стены. Зрителям, чтобы попасть в партер, надобно было спуститься вниз по крайней мере сажени на две. Тем не менее, когда Стайновский предложил своему воспитаннику отправиться вместе в театр на представление “Днепровской русалки”, мальчик был на седьмом небе. Его по преимуществу волновали названия: “сцена”, “ложи”, “партер”, “занавес”, но что, собственно, это значило и как все это соединить и расположить, он никак не мог придумать в своем воображении. Заиграла музыка.

Писемский в жизни своей, кроме одной скрипки и плохих фортепьяно, не слыхал никаких инструментов; но теперь, при звуках довольно большого оркестра, у него как бы вся кровь прилила к сердцу; ему хотелось в одно и то же время подпрыгивать и плакать. Занавес поднялся. С какой жадностью взор нашего

юноши ушел в таинственную глубь какой-то очень красивой рощи, позади которой виднелся занавес с Бог знает куда уводящей далью; а перед ним что-то серое шевелилось на полу – это была река Днепр!

И как ни плохи были лицедеи, как ни убога была вся обстановка провинциального театра, юноша был как бы в тумане: весь этот театр со всей обстановкой и все испытанные там удовольствия показались ему какими-то необыкновенными, не воздушными, не на земле (а – как было на самом деле – под землею) существующими – каким-то пиром гномов, одуряющим, не дающим свободно дышать, но тем не менее очаровательным и обольстительным. Результатом того сильного впечатления, которое произвело на юношей это зрелище, было то, что на святках они задумали устроить у себя дома свой театр. Инициатива принадлежала Стайновскому как старшему возрастом. Он хорошо умел рисовать, и это помогло ему сделать декорации и занавес. Сцену и зрительный зал решили устроить в большой зале, бывшей в опустевшем доме, где они обитали; употребили в дело и найденную там старинную мебель. Не меньшую изобретательность проявил Стайновский и в изготовлении костюмов из немногих имевшихся в наличии материалов: гимназических вещей, мундирчиков, конских волос, бычачьих пузырей и т. п. Для представления были избраны “Казак-стихотворец” и “Воздушные замки”. Роль Маруси уговорили играть очень хорошенцкого гимнастиста, который был в гимназических певчих и имел превосходный тоненький голосок. Один из актеров, подвизавшийся на городском театре, был приглашен выучить юношей петь надлежащие куплеты. Писемский взял себе роль Прудиуса в “Казаке-стихотворце”. В назначенный день собралось столько публики, сколько мог вместить импровизированный театр; публика состояла из гимназических учителей и гимназистов с их родственниками. Спектакль прошел блестительно, причем Писемский заткнул за пояс своего товарища-тутора Стайновского, отличившись правдивостью и тактом в исполнении своей роли.

Этот успех Писемского имел такие последствия: во-первых, самолюбие Стайновского было так уязвлено неудачей на театре, что он был почти не в состоянии видеть Писемского и уехал от него, оставив мальчика одного с его дворовым парнем; и, во-вторых, Писемский начал воображать себя будущим великим актером и, оставшись жить один, нередко перед своим казачком и сторожем дома, старым инвалидом, декламировал, надев халат и подпоясавшись кушаком, из “Дмитрия Донского”:

Российские князья, бояре, воеводы,
Прешедшие через Дон отыскивать свободы.

Или восклицал, цитируя Корнеля в переводе Катенина и обращаясь к инвалиду: “Иди ко мне, столб царства моего!”

Вообще детские игры он совершенно покинул и повел “эстетический образ жизни” в подражание своему дяде со стороны матери, Всеволоду Никитичу Бартеневу. Этот Бартенев, изображенный Писемским в романе “Люди сороковых годов” в лице Эспера Ивановича, бывший флотский офицер, представлял собою весьма оригинальный тип своего времени; это был байбак, Обломов, не сходивший со своего дивана, и в то же время просвещенный любитель и знаток литературы и всех искусств, энциклопедически образованный и горячий проповедник просвещения. Он оказывал большое влияние на племянника во время гимназических лет Писемского, снабжая его романами, журналами, путешествиями.

Юноша с каждым годом все более и более погружался в чтение; часто ходил в театр; наконец задумал учиться музыке. В доме, где он продолжал обитать, оказалось фортепиано; он перенес его в свою комнату, поправил и настроил на свои скучные средства. Учителя он себе выбрал, по слуху крайней дешевизны, того самого актера, который дирижировал пением в гимназическом спектакле. Он, впрочем, мог растолковать Писемскому одни ноты; а затем Писемский уже сам стал разучивать, как Бог на разум послал, небольшие пьески и к концу года играл довольно бойко, так что нашелся даже обожатель его музыки, один из товарищей, который прослушивал его иногда по целым вечерам и совершенно искренно уверял, что такой игры на фортепиано, с подобной экспрессией, он не слыхивал.

Обильное чтение не замедлило окказать свое влияние на восприимчивую природу юноши, пробудив в нем творческие силы. В этом отношении мы встречаем в романе “Люди сороковых годов” характерный эпизод, который, подобно многим другим фактам детства и юности героя романа, в свою очередь мог быть взят всем целиком из жизни самого автора. Так, Писемский рассказывает, как герой его, Павел Вихров, сблизился с учителем математики, хохлом; вместе они ходили на охоту, и учитель этот свободомысленными речами возбудил в юноше критическое отношение к гимназическому начальству. “Все эти толкования, – читаем мы в романе, – сильно запали в молодую душу моего героя, и одно только врожденное чувство приличия останавливало его, что он не делал с начальством сцен и ограничивался в отношении его глухой и затаенной ненавистью”. Но недолго продолжалась эта сдержанность. Инспектор гимназии, и он же учитель словесности, являлся креатурой директора, так как последний возвел его в инспекторский сан вследствие того, что тот сошелся с его дочерью и должен был жениться на ней.

“Перед экзаменами, – читаем мы в романе, – инспектор-учитель задал им сочинение на тему “Великий человек”. По словесности Вихров тоже был первый, потому что прекрасно знал риторику и логику и кроме того сочинял прекрасно. Счастливая мысль мелькнула в его голове; давно уже желая высказать то, что наболело у него на сердце, он подошел к учителю и спросил его: можно ли, вместо заданной им темы, написать на тему “Случайный человек”. “Напишите!” – отвечал тот, вовсе не поняв его намерения. Павел пришел и в одну ночь накатал сочинение. О, каким огнем негодования горел он при этом! Он писал: “Народы образованные более всего ценят в гражданах своих достоинства. Все великие люди Греции были велики и по душевным своим свойствам, у народов же необразованных гораздо более успевают лесть и низость; вот откуда происходит случайный человек! Он может не иметь никаких личных достоинств и на высшую степень общественных почестей возводится только слепым случаем! Торговец блинами становится корыстолюбивым государственным мужем, лакей – графом, певчий – знатной особой”.

Сочинение это произвело, как и надо ожидать, страшное действие... Инспектор-учитель показал его директору; тот – жене; жена велела выгнать Павла из гимназии. Директор, очень добрый, в сущности, человек, поручил это исполнить зятю. Тот, собрав совет учителей и бледный, с дрожащими руками, прочел ареопагу злокачественное сочинение; учителя, которые были помоложе, потупили головы, а отец Никита произнес, хохоча, себе под нос:

– Сатирик! Как же, ведь все они у нас сатирики!

– Я полагаю, господа, выгнать его надо? – обратился инспектор-учитель к совету.

– Это очень уж жестоко, – послышалось легкое бормотанье между учителями помоложе.

Зачем же ему учиться, ведь уж он сочинитель!.. – подхватил, опять смеясь, отец Никита”.

Насилу сумел отстоять своего друга все тот же учитель математики, который был виновником подобного настроения юноши.

Очень вероятно, что нечто подобное случилось в гимназии и с самим Писемским. В автобиографии же своей он о начале развития своего писательского дарования говорит кратко: “В пятом классе я был признан учителем словесности прекрасным талантом, в шестом классе я уже написал повесть, назвав ее “Черкешенкой”, а в седьмом сочинил еще большую повесть “Чугунное кольцо”, которые, вероятно, отличались более стилем, так как я в них описывал такие сферы, которые совершенно были для меня неведомы”.

В романе “Люди сороковых годов” писание последней повести находится в связи с первой романтической любовью героя к кузине Мери, конечно, значительно старшей его по возрасту и относившейся к нему как к мальчику.

“Вскоре после того, – читаем мы, – Павел сделался болен, и ему не велено выходить из дома. Скука им овладела до неистовства – и главное оттого, что он не мог видеться с Мери. Оставаясь почти целые дни один-одинешенек, он передумал и перемечтал обо всем; наконец, чтобы чем-нибудь себя занять, вздумал сочинять повесть и для этого сшил себе толстую тетрадь и прямо на ней написал заглавие своему произведению: “Чугунное кольцо”. Героем своей повести он вывел казака, по фамилии Ятвас. В фамилии этой Павел хотел намекнуть на молодцеватую наружность казака, которому он как бы говорил: “Я вас!”, и, чтобы замаскировать это, вставил букву *t*. Ятвас этот влюбился в губернском городе в одну даму и ее влюбил в самого себя. В конце повести у них произошло randevu в беседке на губернском бульваре. Дама призналась Ятвасу в любви и хотела подарить ему на память чугунное кольцо; но по этому кольцу Ятвас узнает, что это была родная сестра его, с которой он расстался еще в детстве; обояющий ужас – и после этого казак уезжает на Кавказ, и там его убивают, а дама постригается в монахини”.

Не ограничиваясь чтением этой повести своей кузине, Писемский посыпал ее в редакции столичной прессы, но повесть принята не была.

В 1840 году Писемский кончил гимназический курс и вознамерился ехать в Московский университет, выдержавши при этом, если судить по роману “Люди сороковых годов”, немалую борьбу с отцом, который требовал, чтобы сын поступил в Демидовский лицей на том основании, что там он учился бы и содержался на казенный счет, в закрытом пансионе, под присмотром начальства и был бы несравненно ближе к родительской усадьбе, так что за ним ничего не стоило бы на каникулах прислать лошадей. Но сын настоял на своем и поступил-таки в Московский университет на математический факультет.

В своей автобиографии Писемский называет выбор факультета как нельзя более удачным, хотя и не находит, чтобы университетское образование дало ему очень много. “Будучи, – говорит он, – большим фразером, я в этом случае благо-